**Регистратор**

Альфонс Доде

— Бррр... какой туман! — говорит наш старичок, выходя на улицу. Он поспешно поднимает воротник своего пальто, натягивает шарф до самого рта и, засунув руки в карманы, насвистывая, отправляется на службу в свою контору.

И действительно, непроглядный туман. На улицах еще терпимо: в центре больших городов туман, как и снег, держится недолго. Он стелется по крышам, стены домов поглощают его и, врываясь сквозь открытые двери, он осаждается на лестницах и перилах, которые становятся мокрыми и скользкими. Движение экипажей и людей — несчастных торопливых утренних прохожих — рассеивает туман, дробит его, уносит. Он садится на убогую одежду мелких служащих, на накидки продавщиц из магазинов мод, на их обмякшие вуалетки и большие клеенчатые картонки. Но там, на набережных, еще пустых в этот час, на мостах, на крутом берегу широкой реки, там, за собором Нотр-Дам, где солнце появляется, как тусклое мерцание ночника сквозь матовое стекло, там туман становится густым, тяжелым, неподвижным...

Все же, несмотря на ветер и сильный туман, старичок наш идет вдоль набережной, направляясь к себе на службу. Он мог бы пойти другой дорогой, но, видимо, река манит его, она имеет для него какую-то особенную, таинственную привлекательность. Ему доставляет удовольствие идти вдоль парапета, едва касаясь этих каменных плит, отшлифованных локтями фланирующей публики. В такой ранний час и в такую погоду ее почти не видно. Изредка лишь можно встретить женщину с тяжелой корзиной белья, остановившуюся у парапета, чтобы передохнуть, или какого-нибудь чудака, который, перегнувшись, с тоскливым видом смотрит в воду. Каждый раз при встрече с такими людьми наш человечек с любопытством вглядывается в них, затем смотрит на воду, как будто некая сокровенная мысль соединила в его сознании этих людей с рекой.

Неприветливо выглядит река в это утро. Туман, поднимаясь над волнами, словно делает ее медлительной и тяжелой. Темные крыши домов на берегу, эти неровные, покосившиеся дымоходные трубы, скрещиваясь и отражаясь в воде, дымят посреди реки, — все это похоже на какой-то зловещий завод, который со дна Сены напускает на Париж весь свой дым в виде густого тумана. Но нашему человечку вся эта картина не кажется столь печальной. Сырость пронизывает его до костей, одежда промокла до нитки, а он все идет вперед, насвистывая, с блаженной улыбкой на устах. О, он давно привык к туманам Сены! К тому же он знает, что, придя к себе на службу, он найдет свой теплый меховой мешок для ног, затопленную печку, которая весело трещит, ожидая его, и маленькую сковородку, на которой он каждое утро готовит себе завтрак. В этом только и заключается утеха мелких служащих, единственная радость бедных узников, радость, понятная лишь тем убогим, у которых вся жизнь протекает беспросветно, в каком-то промозглом закутке.

«Не забыть бы яблок купить», — неотступно думает он и все насвистывает и торопливо идет вперед. Редко встретишь человека, идущего на службу в таком веселом настроении.

Бесконечно тянутся набережные. Вот уж и мост виднеется. Теперь человечек наш находится за собором Нотр-Дам. Здесь, на этой стрелке острова, туман еще плотнее, чем где-либо. Он надвигается сразу с трех сторон; до половины обволакивая высокие башни собора, он еще больше сгущается у моста, как будто желая что-то скрыть в этом месте... Человечек останавливается: он пришел.

Какие-то зловещие тени смутно вырисовываются в тумане; люди на тротуаре сидят на корточках, как бы в ожидании чего-то, а перед ними, точно у больничных оград и садовых решеток, рядами лежат на лотках сухари, апельсины, яблоки. О, как ярко блестят в тумане эти свежие красные яблоки! Он наполняет ими свои карманы, приветливо улыбается торговке, которая, поставив ноги на грелку, все же дрожит от холода. Затем в густом тумане он нащупывает дверь, открывает ее и входит в небольшой двор, где стоит запряженная тележка.

— А что, есть для нас что-нибудь? — спрашивает он мимоходом. Промокший до костей возчик отвечает:

— Да, сударь! И даже очень миловидное.

Человечек торопливо входит в контору. Вот где тепло и уютно! В углу гудит горящая печка; меховой мешок для ног на своем месте, возле старого кресла у окна. Туман, как легкая занавеска на окнах, пропускает ровный и мягкий свет; толстые книги с зелеными корешками чинно выстроились на полках. Настоящий кабинет нотариуса!

Человечек наш облегченно вздыхает: он у себя.

Но прежде чем приступить к работе, он раскрывает большой шкаф, достает оттуда люстриновые нарукавники, тщательно натягивает их; затем вынимает маленькую глиняную плошку, несколько кусочков сахара, оставшихся после вчерашнего кофе, и, с чувством глубокого удовлетворения оглядывая все вокруг, принимается чистить яблоки. И действительно, трудно найти более веселое и более светлое служебное помещение, где царил бы такой образцовый порядок! Но только странно: со всех сторон доносится беспрерывный шум воды; он окружает, обволакивает, оглушает, как если бы вы находились в трюме корабля. Внизу бьется Сена, с грохотом и ревом ударяясь об устои моста и разбивая свой пенистый вал у самой стрелки острова, загроможденного сваями, досками и всякими обломками. В самом деле, даже из соседнего помещения доносится шум льющейся из ведер воды, как будто там что-то промывают, упорно и долго. Не знаю почему, но этот шум хлещущей воды пронизывает вас холодом. Чувствуется, что вода ударяется о пол, подскакивая на каменных плитах и на мраморных столах, и от этого она кажется еще холоднее.

Что они так старательно отмывают в этом странном доме? Какое несмываемое пятно?

По временам, когда поток воды стихает, оттуда доносится шум падающих одна за другой тяжелых капель, как это бывает при оттепели или после проливного дождя. Можно подумать, что туман, скопившийся на крышах и на стенах домов, от горячей печки тает и беспрерывно падает крупными каплями...

Человечек не обращает внимания на эти звуки. Он всецело поглощен своими яблоками, которые шипят в глиняной плошке, распространяя легкий приятный запах жженого сахара. И это милое шипенье отвлекает его от зловещего шума воды.

— Когда соизволите, господин регистратор?.. — раздается в соседнем помещении хриплый голос. Он смотрит на яблоки и нехотя выходит. Куда он идет?

В полуоткрытую дверь на минуту врывается затхлый холодный воздух, пахнущий камышом и болотной тиной, и вот, как видение, промелькнула сохнущая на веревках одежда — полинялые блузы, рабочие куртки и штаны, и тут же рядом ситцевое платье, повешенное за рукава, — вода стекает с него капля за каплей...

Теперь все закончено. Вот он снова входит к себе, кладет на стол какие-то промокшие мелкие предметы и, продрогший, идет к печке отогревать свои красные от холода руки.

— Нужно совсем взбеситься, чтобы в такую погоду... — говорит он, вздрагивая. — И что с ними такое?

Он совсем согрелся, и, так как сахар в плошке густеет, он усаживается у края стола завтракать. Во время еды он открывает одну из больших книг для записей и с явным удовольствием перелистывает ее. Она содержится так аккуратно, эта толстая книга! Строчки ровные, заглавные буквы выведены синими чернилами, на каждой странице промокательная бумага и еще заметный отблеск золотистого песка — одним словом, забота и безукоризненный порядок...

Дела, по-видимому, идут хорошо. Добряк радуется. У него довольный вид счетовода, удачно справившегося с годовым отчетом. И в то время как он с наслаждением перебирает страницы своей книги, двери соседнего помещения раскрываются, и оттуда доносится шум шагов, гулко звенящих на каменных плитах пола. Говорят тихо, как в церкви:

— Ах, какая молоденькая!.. Бедняжка!.. — И народ толпится и шепчется...

А ему-то какое дело до того, что она молода? Спокойно доедая яблоки, он пододвигает к себе только что принесенные предметы. Тут и наперсток, полный песку, кошелек, в котором осталась медная монетка, маленькие ржавые ножницы, такие заржавленные, что никогда уже нельзя будет пользоваться ими, — о, никогда! — наконец расчетная книжка со слипшимися листками и обрывки письма со стертыми буквами, где можно разобрать несколько слов: «ребенок... денег нет... за месяц кормилице...»

Регистратор пожимает плечами, как бы говоря: «Это мне знакомо!»

Затем он берет перо, тщательно сдувает упавшие на книгу крошки хлеба, усаживается поудобнее и своим красивым писарским почерком пишет имя, которое ему удалось разобрать на промокшем листке:

«Фелиси Рамо, красильщица, семнадцати лет».